

Михаил Гончарок



Серпантин



«...Очень редкая и удивительная радость — раскрыв книжку напроць незнакомого автора, обнаружить зрелого и очень интересного писателя. Меня постигло это чувство при чтении рассказов, которые Михаил Гончарок собрал в книгу. Всё, что вспоминает он о ярком и кошмарном времени в Советском Союзе, всё, что он пишет о своей сегодняшней жизни в Израиле, — так ощутимо для души и разума, что трудно оторваться от его насыщенной и точной прозы...».

Игорь Губерман



«...В прозе Михаила Гончарка за художественной образностью мы находим ответ на вопрос: „Кто эти люди — художники, мыслители?“ Это те, кто в противоречивости этого мира, кажущемся абсурде ищут смысл, пытаются понять самое главное: чем жив человек, что выстраивает его судьбу. При этом „Всё, что мы пишем, мы пишем о себе, пусть это будет математический трактат или текст об индийской древней сморщенной колдунье...“

Внимание писателя привлекают необычные люди. Самые неправдоподобные истории с точки зрения здравого смысла становятся реальностью. Вот уж воистину сознание определяет бытие, а не наоборот. Казалось бы, автор отстранён от своих, не озабоченных бытом героев, но он же и соучастник их жизни, „невольнo за-ряжающийся чужим оптимизмом“.

Кратко, всего лишь несколькими точно найденными словами, рисуются портреты людей, психологические состояния, уклад жизни. За художественной образностью, достоверностью изображаемого мы находим своеобразное решение вечных проблем о силе и бессилии человека, о его самодостаточности и уязвимости, о том, что бессмертен разум — разумная часть души. Не случайно вслушивающийся, вглядывающийся в сегодняшний день и вглубь веков автор предпочитает Василис Премудрых Василисам Прекрасным: „Премудрая... она же оказывается и Прекрасной“.

Михаил Гончарок найдёт своего собеседника и из тех читателей, которые разминутся с ним в поколениях...»

Дина Ратнер

«...Не грустные мотивы неприкаянных русских интеллигентов, проступающие между строк, привлекают меня в прозе Михаила Гончарка, а нечто гораздо, гораздо более значительное. Во всех его произведениях каждый образ, каждая фраза напитана неизбывной вселенской любовью. Неугомонным любопытством к жизни. Удивлением, пульсирующим удивлением художника перед каждым, самым незначительным её проявлением. Присутствие <...> автора незримо прорастает через его героев, которых выбирает и любит он, которые выбирают и любят его, и эта любовь всепроникающей аурой окружает каждый образ в его произведениях.

Эта любовь не знает масштаба. Она позволяет в капле увидеть океан и в каждой, пусть даже самой заурядной, ограниченной временными рамками судьбе ощутить бесконечность. Этим даром любви Всемилоливый наградил Мишу в полной мере...»

Иосиф Букенгольц



«...Мир Михаила Гончарка плотно заселён. Несметное количество людей заполняет страницы его рассказов и улицы его городов: Ленинграда и Иерусалима. Имена, подробности, бытовые детали, характерные диалоги, цвета и запахи — всё густо замешано и создаёт иллюзию объёмного, реального мира. Но только иллюзию. Этот мир, такой узнаваемый, только притворяется реальным. Потому что каждая якобы бытовая зарисовка оборачивается абсурдом. Или фарсом. Или полным безумием. Или отдаёт близостью смерти. Или, закручиваясь в немыслимых диалогах, ввергает читателя в неудержимое ржанье. Многослойная причудливая проза, играющая массой цитат и аллюзий, притчи с вкраплениями реалий. Обаяние неназойливых мыслей и наблюдений, избегающих малейшей нравоучительности.

Автор умело занижает своё участие в этих историях, говорят и действуют в основном его персонажи, он как бы простой наблюдатель, второстепенный участник из массовки. Но, это, естественно, приём, лукавство. Всё это о нём, что он знает лучше всех и декларирует в зарисовке „Ключи к декабрю“. А ещё о бессмысленности, безумии, жестокости и абсурде нашей во многом прекрасной и удивительной жизни...»

Татьяна Разумовская



Михаил Гончарок

Серпантин

БОСТОН • 2022 • BOSTON

МИХАИЛ ГОНЧАРОК Серпантин. Рассказы

MIKHAIL GONCHAROK Serpentine. Short stories
(*Serpantin. Rasskazy*)

Copyright © 2006–2022 by Mikhail Goncharok

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the written permission of the copyright holder.

ISBN 978-1950319923

Library of Congress Control Number: 2022945586

Published by

M•GRAPHICS | BOSTON, MA

✉ mgraphics.books@gmail.com

🖥 mgraphics-books.com

In collaboration with

BAGRIY & COMPANY | CHICAGO, IL

✉ printbookru@gmail.com

🖥 www.bagriycompany.com

Book Design by Yuliya Timoshenko © 2022

Cover Design by Larisa Studinskaya © 2022

При подготовке издания использован модуль расстановки переносов русского языка ВАИ™ (www.batov.ru)

Printed in the United States of America

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Борис Камянов. Предисловие</i>	1
Ключи к декабрю	5
Человек, который не родился	8
Мама и Далай-лама	16
Василь Васильич	19
Мой друг Иван	28
Пастор	32
В соответствии с семейной легендой	38
Фанни	43
Доктор	47
След огненной жизни	50
Почему я не люблю богему	52
Бессонница	58
Очарованный принц	61
Глазницами в рассвет	65
Хачик	68
Комментарий к комментариям	74
Радикальный способ снятия сплина	77
Каи-каи но пасаран	81
Визит к минотавру	86
Симбиоз, нес па?	89
Бирюк	98
Забудь-трава	102
Эллинский секрет	104
Конченный праведник	113
Кошки	118
Дед	124
Так говорил раввин	127
Забывтая мелодия для флейты	132
Педагогическое недоразумение	140
Шмандергебец	153
Поющий рабби	160
Свет мой, зеркальце	169

Девятнадцатое декабря	171
К истории одной фотографии	176
Хамса для подруги детства, или Бад-и-садбист-и-руз в груди у тёзки	180
Во вратах твоих	187
Старый вор, или К вопросу об этимологии фени	196
Троль таке юдр оль	203
Баня	210
Так держать, рядовой!	215
Из записок мадригала	222
Однажды летом в рауту	228
Пипец-летописец	237
Настоящий полковник	240
Поколение дворников и сторожей	244
Толстый мальчик	251
Тут он хамон	255
Мирза-Чарле	260
Мымра	267
Иди и не греси	270
Индетерминист	275
Чудо	280
Сопричастность, или Лунный луч — как соль на топоре	282
Трамвай «Писатель»	287
Рецепт	293
Агасфер	205
Танька	302
Маленькая женщина	305
Сон	313
Два Митрича	317
Повесть о Ходже Соломоне	323
О воспитании	329
Живые и мёртвые	333
Лёнька Пантелеев	354
Лето в Одессе	358
Редактор	365
Очерк истории хасидизма	371
В вашу гавань заходили корабли	373
25 мая 1977 года	379
Часы	381
Крутой маршрут	386
Возвращение	390

ПРЕДИСЛОВИЕ

С самого детства я делил прочитанные мной книги на две категории по простому принципу: хотел бы я познакомиться с их авторами — совершенно неважно при этом, в каком веке они жили, — или нет. Конечно же, если полюбившийся мне писатель был моим современником, жил в одном со мной городе и судьба дарила мне возможность общения с ним, я её не упускал — так я познакомился с Юрием Домбровским, Феликсом Розинером, Борисом Слуцким и многими другими замечательными прозаиками и поэтами. Их произведения я перечитываю постоянно, и при этом меня не покидает ощущение живого общения с авторами. В то же время многие талантливые книги, даже шедевры литературы, я никогда не открывал по второму разу, не почувствовав никакого душевного родства с теми, кто их написал.

Приехав в семьдесят шестом году в Израиль, я поначалу впал в оторопь, как медведь, попавший в малинник. Оказалось, что концентрация русскоязычных писателей на этой земле сродни по густоте раствору солей в Мёртвом море. Волны репатриации набегали на наш берег, спадали и набегали вновь, оставляя на Святой земле десятки литераторов экстра-класса. И очередной подарок судьбы: многие из них стали моими близкими друзьями. Со временем мы основали Содружество русскоязычных писателей «Столица», в которое вошло около сорока человек, и начали издавать альманах «Огни столицы».

Несколько лет назад я познакомился с писателем, приехавшим в Израиль с последней волной репатриации, — Михаилом Гончарком, прозаиком, который ещё никогда не печатался, писал, что называется, «в стол». Был он уже далеко не мальчиком, отцом семейства, и готовых рукописей у него скопилось к тому времени немало. Друзья Миши по своей инициативе отправили несколько его вещей — а пишет он в жанре коротких новелл — в бостонское издательство, выпускающее книги на русском языке, и хозяйева, знающие, оказывается, толк в настоящей литературе, издали за свой счёт (с писателями-дебютантами такое бы-

вает крайне редко) его первую книгу — «Записки маргинала» — с моим послесловием, где я, среди прочего, писал: *«На крутом склоне лет нечасто доводится открыть для себя новое писательское имя. Казалось бы, все одарённые авторы тебе уже известны — тем более в таком тесном пространстве, как русскоязычный Израиль, — и если появится кто-то, чьи произведения произведут на тебя сильное впечатление, — это почти наверняка будет новый репатриант из России, профессиональный литератор. Проза Михаила Гончарка... стала для меня открытием. Оказалось, что в одном городе со мной живёт интереснейший писатель, мастер-миниатюрист, умудряющийся в коротком рассказе на четырёх-пять страниц создать столь живые и полнокровные образы, что умей я рисовать — в момент набросал бы их портреты...»*

Если бы я впервые прочёл рассказы Миши, не будучи знаком с автором, я обязательно искал бы встречи с ним как с внезапно обрётённым младшим братом, родным человеком, о существовании которого и не подозревал. Но жизнь преподнесла мне очередной дар: я познакомился с Гончарком и почти сразу — с его творчеством, и сегодня мы с ним — близкие друзья. На регулярных встречах членов нашего содружества, в которое Миша был принят «на ура», он сидит одесную от меня, и День независимости Израиля мы стараемся праздновать вместе, семьями.

Прозу Михаила Гончарка не спутаешь ни с какой другой. Набор особенностей, которые её характеризуют, неповторим. Жёсткость в ней соседствует с сентиментальностью; комизм — с трагичностью, никогда, впрочем, не педалируемой для стимуляции читательского сопереживания; поэтичность, которая роднит её с прозой Олеси, — с бабелевскими лаконизмом и афористичностью; буффонада, иногда балансирующая на грани хулиганства, — с глубиной осмысления коренных вопросов человеческой жизни...

К рассказам Гончарка как нельзя лучше подходит бахтинский термин «карнавальность». Приведу хотя бы такую сценку (действие происходит в арабском квартале Старого города в Иерусалиме, где герой и его гости из-за рубежа встретили заблудившуюся монашку из России): «„Я потерялась!“ — дрожащим голосом повторила она, глядя на меня круглыми ненакрашенными глазами обиженного ребёнка. Я подхватил чемодан (он чуть не оторвал мне руку), махнул другой рукой цокающим языками арабам и повлёк сестру Татьяну за собой. Это была живописная процессия: я, пыхтя и тихо матюгаясь, тащивший фанерное чудовище, связанное верёвкой, русская монахиня, семенившая за мной и бормо-

тавшая молитвы, Рита, вприпрыжку бежавшая следом, и замыкавший шествие Марат, время от времени для общего успокоения выкрикивавший формулировки исламского благочестия».

Комизм, который я упомянул, достигается у Гончарка разными способами, из которых излюбленные — гипербола и парадокс: «...конный полицейский попытался лягнуть копытом своей лошади женщину-демонстрантку, но рядом оказался дядя Коля — он лягнул лошадь, и она упала».

Для русскоязычного израильского писателя, чьё знакомство с ближневосточными реалиями только начинается, велик соблазн увидеть многоцветную картину происходящего в упрощённом, черно-белом варианте, провозгласив абсолютную правоту евреев и демонизировав их врагов. Но не таков Гончарок: он понимает, что на этой земле столкнулись две правды и победит та сторона, которая окажется сильней — прежде всего духовно. Он сочувствует противнику, несущему человеческие потери в войне, но не более того, и в этом — высший гуманизм, который может позволить себе израильтянин.

И напоследок — об отношении Гончарка к так называемым «служителям культа», которых среди героев его рассказов множество. Вот где проявляется карнавальность его прозы во всей своей красе: раввины и муллы, гуру и православные монашки пребывают в его рассказах в броуновском движении, сталкиваясь и разбегаясь, и каждый из них по-своему забавен и трогателен. Гончарок ни в коей мере не подшучивает над религией как таковой — его симпатии к иудаизму не декларируются, но вполне очевидны, — однако алмазные россыпи комизма, столь богатые именно в этой области, поставляют ему драгоценные кристаллы юмора в изобилии.

Михаил Гончарок, с моей точки зрения, — один из лучших прозаиков, пишущих сегодня по-русски, и выход его представительного сборника в солидном американском издательстве — большая радость для него, для тех, кто его уже знает и любит, и — я уверен в этом! — для его новых читателей.

Борис Камянов
Иерусалим

КЛЮЧИ К ДЕКАБРЮ

Хотелось бы написать.

О том, что волнует по-настоящему.

Всё, что мы пишем, мы пишем о себе, пусть это будет математический трактат или текст об индейской древней, сморщенной колдунье из сельвы Парагвая, изложенный школьницей из Орехово-Зуево, никогда в этой сельве не бывавшей и даже не знающей, что слово «сельва» означает. О Маше, пишущей от имени норманнской принцессы, жившей за тысячу лет до Маши, и о принцессе, которая тоскливым зимним вечером тысячу лет назад, грезя у очага в своём холодном замке, придумала жизнь Маши, но ничего не записала, потому что вообще писать не умела, да и никто вокруг не умел.

О старых людях, чей путь кончается, о молодых, которые вообще ещё не знают, что это такое — их путь.

О дураке с прекрасным лбом и глазами мыслителя, о мудреце со скошенным лбом австралопитека и надбровными дугами троглодита.

О неандертальце, певшем стихи о звёздах у костра под улюлюканье соплеменников, позднее его, бездельника, сожравших, потому что всё равно толку от такого певуна чуть, а утренняя охота племени была неудачной.

О старухах, видевших в жизни многое, но оставшихся младенцами по уму и чувствам, о девочках, мудрых, как змий.

Об одиноких в своём знании. О родившихся позже своего времени, о тех, кто опередил его на много. О разминувшихся на века с собеседником, которому, единственному, дано понять то, что ты думаешь на самом деле.

О вылавливании жемчужины в бочке с дерьмом, о спорах, стоит ли эту жемчужину искать. О тайне слова. О том, как из разрозненных строк складывается мраморная цельность, где ни одно слово не лишнее, где нет торчащих, как нитки, никчёмных отступлений и неуклюжих оборотов. Как горка разноугольных льдинок под рукой Кая по щелчку пальцев вдруг складывается в мозаику, означающую слово «вечность».

О том, как прекрасно впитывать тишайшую, никому, кроме одного — твоего — человека, не слышную мелодию гармонии, окутывающую двоих тайной, как покрывалом. О том, что разнотой сердец вдруг становится унисоном, поющим звенящей медью.

О том, как клоун с приклеенной улыбкой, наглухо застёгнутый на все пуговицы в одиночество, как в шуртук, впервые во весь голос сказал о том, что волнует его по-настоящему, и как никто вокруг этого не понял, как в ответ раздались недоуменные смешки и жидкие аплодисменты, и это был такой диссонанс, что я, приглашённый на представление в числе прочих, задохнулся — до дрожи и до желвака на виске.

О том, что говорить о любви не стыдно, но бессмысленно, так же как не стыдно, но бессмысленно от неё и плакать. О том, что скептицизм стал проклятием века. О скорлупе сомнений, которую хочется раздавить рукой, как пустой рачий панцирь.

О внешней и внутренней стороне вещей. О конкретных людях, которые когда-то жили, и некоторые из которых живы до сих пор. О том, что опыт их жизни других ничему не научил, и даже их самих он ничему не научил. О том, что выводов из этих историй нет, и не ясно, нужны ли эти выводы вообще, потому что не ясно, кого и чему они могут научить.

О моей прабабке, сто лет назад сбежавшей из дома своего отца, известного талмудиста, потому что она хотела не выходить замуж, а учиться на врача. О том, как её прокляла семья, потому что она, поступив в университет, зарабатывала на жизнь проституцией. О том, как, случайно забеременев от любовника, она родила мою бабушку, единственного по-настоящему интеллигентного и мудрого человека в моей семье. О том, как прабабка с ребёнком на руках моталась по фронтам гражданской войны и лечила белых, красных, зелёных, жовто-блакитных, и её, врача, не тронул никто из них. О тридцать седьмом годе, когда ей припомнили то, что лечила она не только красных. О муже, сгинувшем на Колыме, о стоянии в тюремных очередях вместе с Ахматовой.

О деде моём — крестьянине с Поволжья, страстном коммунисте, заступившимся за врага народа и посланным в штрафбат, где он выжил один из всей роты.

О моей тётке-художнице, первой учившей меня, маленького, стихам Киплинга и Стивенсона. Об умершем глупейшей смертью, совсем молодым, муже её, Валерке, смешливом и ироничном грешнике, помеси Ходжи Насреддина с Остапом Бендером.

О других людях, всяких и разных.

О гудящих проводах телеграфных столбов на заснеженной лесной дороге, уходящей на Север.

На ссохшейся ветке задумался снег
о мёртвом молчанье зимы.

Хотелось бы написать.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ РОЖДАЛСЯ

Со мной в детский сад и потом в школу ходил похожий на куклу Барби мальчик Владик.

О детсадовском периоде нашего золотого детства я ничего путного сказать не могу, хотя и помню его досконально, почти день за днём, как в пьесе Анчарова. Скажу только, что не было оно, детство это, для меня золотым. Этот период неоформленно-го ещё разума и не доросших до нужной кондиции физических данных так только называется. Может, у кого-то оно, детство, таковым и было, я не знаю. У меня оно ассоциируется с чёрным провалом окна моей спальни зимним утром, с «Пионерской зорькой» по радиоточке без двадцати восемь. С зорькиным поганым горном, хрипло записанным на магнитофон в студии, с идиотически бодрым голосом поддельвавшей под пионерку ведущей, с овсяной кашей, с маминым «нужно, сынок», с ужасом перед выходом во двор и дорогой в детсад, а потом — перед той же дорогой в школу под ледяными звёздами. Скрип старых, разошедших половиц, запах выкрашенных зелёною парт с вырезанными на них словами, запах нищеты и бесправия, возведённых в принцип. Моя беспомощность, тёмный ужас перед невозможностью изменить это утро, эти звуки и запахи.

Мальчик Владик ходил со мной в одну детсадовскую группу, потом — в один класс. В один класс нашей серой, четырёхэтажной заурядной школы № 378 Московского района, руководимой Эпилептиком — припадочным полуглухим директором Иваном Силычем Джулаем, бывшим красным партизаном, произносившим бесконечные невразумительные речи о любви к Родине и называвшим учеников сволочью, а родителей наших — контрой.

Детский сад и школа, стоявшие по соседству, в одном дворе, слились у меня воедино.

До шести лет мы с Владиком сидели вместе рядом на детсадовских горшках, стягивали в туалете рейтузы с визжащих девчонок и разучивали песни о Самом человеческом человеке. Не помню, рассказывал ли я ему о своих ощущениях, о которых рассказал сейчас

вам, а если и рассказывал, то, боюсь, так сбивчиво и непонятно, что он навряд ли понимал меня. Ему всё было легче, Владiku. Мы приходили на занятия вместе, таща за спиной ранцы и сумки со сменной обувью, иногда держась за руки; он — с вечной своей ангельской улыбкой, я — с вечно приоткрытым в ожидании гадостей наступающего дня ртом; он — синеглазый, золотоволосый, белозубый, любимец нянечек и учительниц, на протяжении долгих лет называвших его «наше солнышко»; я — нахохленный, мрачный, со сбившейся на глаза спортивной зимней шапочкой, с вечным гайморитом, аденоидами и вечной своей неуспеваемостью.

Он учился легко и быстро, как бы шутя. Учёба его напоминала мне шуструю, небрежную, почти гениальную игру на пианино, которой славна была двоюродная Владикова сестра, первая красавица школы Таня Гречухина, белозубой улыбкой своей и светлым ореолом волос очень напоминавшая брата.

В четырнадцать лет Владик свихнулся. Этого можно было ожидать от любого из нас, подростков, в том нежном возрасте, когда превыше всей учёбы начинали цениться девичьи коленки, выглядывавшие из-под сирых, коричневых форменных платьиц. При приближении ко мне в школьном коридоре любой одноклассницы я начинал чувствовать себя скованным и несчастным. Каждый раз это походило на сближение с иной Вселенной, с иными физическими и духовными свойствами, постичь которые я был совершенно не в состоянии.

В четырнадцать лет Владик вовсю уже гулял с девицами, шалавами из восьмого параллельного класса Куличёвой и Кирпичёвой, и они, по слухам, были от него без ума. Гарантией этого являлся тот факт, что категорический отвод девицы дали даже узкоглазому красавчику Вите Цюю, сидевшему за одной партией с кем-то из них и прежде, по тем же слухам, успевшему побывать фаворитом их обеих.

Владик изумительно играл на гитаре. Голос у него был вовсе не музыкальным, слуха, кажется, не было вовсе, но играл он изумительно. Нам, преклонявшимся перед ним за фривольность и лёгкость в учёбе по всем предметам, было недосуг задумываться о содержании этих песен. Тогдашний репертуар подростков включал глупейшие тексты из разнообразных советских ансамблей песни и пляски, несколько разбавленных отдельными композициями Высоцкого и Юрия Кукина вкупе с двумя-тремя подделками под переводы из «Битлз» и «Роллинг стоунз».

Одну из Владиковых песен — «Маэстро» — я помню до сих пор:

Проходят дни.
 Века проходят, как года.
 Горят огни.
 Над катакомбами всегда
 Горят огни,
 А нам плевать на белый свет,
 Ведь мы подохнем
 В дымке сигарет.

Я записывал Владиковы песни на старый бобинчатый «Маяк», и лент в его исполнении набралось у меня штук десять.

Восьмилетка кончилась, и я перешёл учиться в девятый класс в другом районе города. Каждый день по дороге в школу и из школы я проходил мимо гигантской ленинградской мечети. Может быть, новые друзья, а может, и вид самого этого здания начал настраивать меня на иной лад. Я всё реже встречался с бывшими одноклассниками, на дружеские предложения Цоя встретиться и «бухнуть сухо-креплёного» в компании скороспелых, окончательно к тому времени созревших Куличёвой и Кирпичёвой отвечал решительным отказом. Я читал уже литературные новинки — Юрия Слепухина, Андрея Битова и скверные фотокопии Цветаевой, на магнитофоне слушал уже не Владиковы песни, а Галича, и постиг, наконец, лирическую прелесть Окуджавы.

От девочек я шарахался по-прежнему — как от огня.

Прошло два года, я окончил школу и поступил в институт. Вскоре после этого я встретил Владика на Невском и поразился. Владик, одетый по первой моде, с блондинистой девицей под мышкой, с «Кэмелом» в зубах, оказался мажором. Он лепетал что-то о новых тряпках, о каких-то пусерах, о встречах с иностранными туристами, о новой партии кримпленовых носков и с гордостью фирмача поведал мне о двух приводах в милицию. Ну, а ты что делаешь? — спросил он. Учусь на первом курсе, — начал я. И тебя, такого дурака, туда приняли? — перебил он, явно красуясь перед девицей, глядевшей на него с обожанием. Я сменил тему и сказал что-то об Аксёнове, литературно-политический скандал с вышибанием его из страны был тогда в самом разгаре. Он махнул рукой. Я, помню, подумал: вот передо мной стоит

Человек-Дурак. Мы расстались, и долгие годы я больше с ним не встречался...

Летом 1988 года я закончил рукопись «Очерков истории хасидизма», фотоспособом распространявшуюся в самиздате. Через несколько месяцев у меня в квартире раздался странный телефонный звонок. Незнакомый мужской голос осведомился, со мной ли он имеет честь разговаривать, передал огромный привет от Владика и пригласил посетить коммуны духовнопросветлённых гуру нового поколения на Карельском перешейке, в глухом лесу, в трёх часах езды от Ленинграда, для обсуждения моей рукописи и дискуссии об оной.

Я не понял, какое отношение к духовнопросветлённым может иметь друг моего детства, и пришёл к выводу, что всё это — очередная провокация КГБ. В то время в любом ритмичном шарканье метлы дворника под окном мне мерещились происки властей, жаждущих свести со мной счёты. Тем не менее, я чувствовал, что полагаюсь у них под колпаком. Что рыпнуться мне некуда, что так или иначе ехать, раз вызывают, нужно. На следующее же утро я обречённо попрощался с женой и отправился на поиски коммуны.

Вернулся я совершенно ошеломлённым. Под носом у властей, правда, в лесной глухомани между Выборгом и Приозёрском, среди дач ленинградских врачей и инженеров, свили настоящее конспиративное гнездо советские последователи разнообразных индуистских культов и философий. Они прочли один из экземпляров моей рукописи и жаждали задать автору вопросы о потенциальной духовной связи между восточными учениями и мистикой иудаизма. Трое суток я не мог выбраться из леса. Я честно старался отвечать на поставленные вопросы, но не мог компетентно подходить к предложенной теме, ибо мало разбирался в древней мудрости Дальнего Востока. Понятие «майя» означало для меня лишь женское имя, а слово «дхарма» ассоциировалось исключительно с романом Керуака, экземпляр которого с риском для карьеры выкрала для меня одна из моих тогдашних пассий, работавшая в спецхране Публичной библиотеки.

Меня поразил Владик. С длиннейшими льняными волосами, ниспадавшими ниже пояса, с приветственно сложенными на груди руками, с глазами, от которых меня внезапно ударило как электрическим током, он производил впечатление человека подлинно не от мира сего. От прежнего моего одноклассника осталась только ослепительная, но ставшая какой-то отрешённо-блаженной, улыбка.

Коммунары жили в огромном двухэтажном некрашеном доме дачного типа, построенном ими своими руками и стоявшем прямо в лесу.

Всё было захватывающе интересно, но когда к вечеру первого дня я освоился окончательно, меня начало смущать абсолютное отсутствие спиртных напитков. Сигареты у меня кончились быстро, вокруг никто не курил, а во время трапез подавали бесконечный варёный рис без мяса, но со специями, пахнущими мухоморами.

К исходу третьих суток я уехал с этого странного семинара, и его организаторы кланялись мне вслед, сложив руки на груди. Я оглядывался. Там были симпатичные девчонки, но на протяжении всех этих суток, общаясь со мной, они лишь закатывали глаза к синевящим небесам и безостановочно бормотали мантры.

Владик провожал меня. Пока мы выбирались из леса, я понял наконец, что гитара, фарца и мажор заброшены моим бывшим одноклассником совершенно всерьёз. Он сыпал цитатами на санскрите и тут же переводил их на русский, он говорил о «Бхагават-гите» и «Махабхарате», о Будде, Кришне, ламаизме, дзене и экуменистических тенденциях. Закатывая глаза, негромко смеясь и деликатно прикрывая рот рукой, он говорил, как счастлив был видеть меня и как интересно было его товарищам узнать об адекватных учениях Ближнего Востока. Попутно выяснилось, что Владик выучил английский язык для общения с единомышленниками, живущими на Западе...

Ещё через два года я уехал из России навсегда.

Несколько лет назад совершенно случайно я узнал, что Владик теперь никакой уже не Владик, а гуру международного значения с сорокапятисложным именем. Я узнал, что он возглавляет одно из трёх ответвлений индуистского движения «Ананда марга» и отвечает за духовную работу этого движения на территории СНГ и сопредельных стран. Что семь лет он прожил в одном из монастырей Бомбея, что окончательно выучил не только санскрит, как язык священных текстов, но и хинди, и бенгали, и даже, кажется, урду, что имя его ныне произносится десятками тысяч учеников с придыханием, что в настоящее время большую часть года он проводит в разъездах по Европе и обеим Америкам с выступлениями перед массовой аудиторией, что перед ним открыты двери в домах неких сильных мира сего, что он...

Во время одного из моих последних визитов в Россию, встретившись с друзьями детства и одноклассниками, сидя за отличным столом, уставленным горячительными напитками разной степени крепости, выпив для начала за память нашего общего Цоя и всю дымя ностальгическим для меня «Беломором», я поделился с сотрапезниками своим открытием, начало которого для меня относилось к давнему 1988 году.

Мне было сказано, что это — никакое не открытие, что все это знают, а некоторые даже осуждают, так как, по мнению многих, Владька возгордился. Пьяный Саша Зиборов, учивший в далёком детстве первым трём гитарным аккордам обоих наших одноклассников и кумиров нынешней молодёжи и Цоя, и Владика, заявил, что с покойным Витей всё более-менее, а вот Владик не кто иной, как Гуру из Бобруйска, вот кто он такой.

Сильно раздавленные в ширину и постаревшие, находившиеся здесь же ларёчные торговки Куличёва и Кирпичёва, напившись почти до бесчувствия, рыдали под столом, оплакивая память обоих кумиров, потому что новых объятий им, торговкам, уже не дожидаться — один в могиле, а другой «просветлился и копит энергию».

— А всё-таки удивительный у нас класс был, да, ребята? — сказал я и, встав из-за стола, неуверенно направился в комнату, где хранились у моих родителей древние, двадцатипятилетней давности, шуршащие и рассыпающиеся в руках от ветхости магнитофонные бобины.

Я включил магнитофон, и кухню заполнил глухой, свистящий, вибрирующий звук — четырнадцатилетний Владик играл на гитаре самые глупые и пошлые песни из репертуара забытой советской эстрады семидесятых годов...

Все благоговеино молчали.

Эти песни так не гармонировали с тем новым Владиком, образ которого уже давно сложился в моём воображении, что я поспешил выключить магнитофон.

...На прощание, когда нагруженные выпивкой однокорытники стали расходиться, мне дополнительно сообщили, что «Владик действительно возгордился, так как не желает поддерживать отношения с друзьями детства, и вообще он не желает разговаривать по-русски. Все свои циркуляры на территорию СНГ он присылает ученикам на санскрите с автоматическим переводом на английский».

Я вяло возразил, что, вероятно, Владiku совсем не так интересно общаться с бывшими одноклассниками-пьянчугами, как они, одноклассники, могли себе вообразить, и если одноклассникам действительно интересно общаться с Владиком, то пусть учат санскрит или, по крайней мере, английский.

С того вечера прошло не больше месяца, и в моей иерусалимской квартире раздался звонок. Незнакомый бас на иврите с сильным английским акцентом поинтересовался, со мной ли он имеет честь разговаривать, и торжественно предупредил, чтобы я был готов получить письмо от Учителя и, по получении, немедленно на него ответить. Я ошеломлённо спросил, о каком Учителе идёт речь. В ответ было произнесено имя, в котором я с огромным трудом, путём неуловимых ассоциаций, провернувшихся в моём мозгу, признал нынешний титул Владика.

Я, памятуя рассказанное пьяными одноклассниками в далёком городе на Неве, отвечал, что не читаю на санскрите, и пусть Учитель, по крайней мере, пришлёт письмо на английском. Ивритский бас с английским акцентом торжественно пообещал, что письмо будет на русском языке.

Письмо пришло через пять дней и, действительно, было на русском. В конверте со штемпелями города Пума, Индия, находился отрывок какого-то текста и маленький белый листок, почти девственно чистый. Одна-единственная фраза, написанная полузабытым почерком, гласила:

«Миша, скажи родителям в Петербурге, чтобы стёрли магнитфонные ленты».

— Аллах акбар, — ошеломлённо пробормотал я, крутя листок в руках. Потом я посмотрел на потолок, как будто ожидал немедленного появления Учителя свыше. Я подошёл к телефону и негнущимися пальцами стал тыкать в кнопки, набирая мой старый ленинградский номер.

Только через час или полтора я вспомнил о дополнительном тексте, вложенном в конверт. Текст тоже оказался на русском языке.

Собственно, это была фотография, с задней стороны которой была напечатана некая притча. На фотографии я увидел могильную плиту, на которой была начертана такая надпись:

«Никогда не рождался и никогда не умирал, лишь посетил планету Земля между 11 декабря 1931 года и 19 января 1990 года».

Дрожащими пальцами я перевернул фотографию. Там находился текст. Полагая, что незримо присутствующий со мной Учи-

тель, которого я до сих пор фамильярно и упорно продолжаю называть Владиком, хотел мне этим текстом что-то сказать, привожу его здесь целиком:

«В селении, где жил великий дзен-мастер Хакуин, забеременела девушка. Отец третировал её, добиваясь имени возлюбленного, и в конце концов, во избежание наказания, она призналась ему, что это — Хакуин. Отец больше не задавал вопросов, но как только ребёнок родился, отнёс его Мастеру. „Кажется, это твой ребёнок?“ — спросил он как можно более презрительным тоном. „О, действительно?“ — удивился Хакуин и взял малыша на руки. С тех пор он всегда носил его с собой, завернув в рваный рукав своего поношенного платья. И в дождь и в холод приходилось ему ходить, выпрашивая у соседей молоко для ребёнка. Многие ученики, возмущившись таким поведением наставника, покинули его. Хакуин не сказал им ни слова. Наконец мать дитя поняла, что больше не может выносить разлуки с сыном, и назвала имя настоящего отца ребёнка. Её отец бросился к Хакуину и стал молить о прощении. „О, действительно?“ — только и сказал Хакуин и отдал деду внука».

МАМА И ДАЛАЙ-ЛАМА

Прочитав чей-то рассказ о чужой маме и её друге, рассказ о разнице в возрасте между возлюбленными, составляющей сорок лет, я вспомнил несколько аналогичных историй, о которых читал, слышал или свидетелем которых был сам. Эдит Пиаф с её греком вспомнил, ещё кое-кого. Помимо прочего — сквозь призму времени перед глазами встал ленинградский историк Юрий Семёныч Динабург, экскурсовод из Петропавловской крепости. О Юрии Семёныче ходили анекдоты. Он мог выйти из дома в одних носках и так прийти на работу. Он мог идти, задумавшись, ступая одной ногой по тротуару, другой — по проезжей части, не обращая внимания на неожиданную хромоту и нездоровое любопытство прохожих, так как размышлял о Вечном. Мама моей первой жены работала с ним больше двадцати лет назад и однажды познакомила меня с ним. Уникальной красоты человек с седыми, длиннейшими волосами до пояса, которые он заплетал в косичку — и так ходил по городу, бормоча что-то себе под нос и размахивая руками. Милицию эта косичка приводила в исступление, и Юрия Семёныча задерживали в разных концах города приблизительно раз в неделю. Он покорно шёл в ближайшее отделение для выяснения личности. Стражи порядка полагали, что имеют дело с неким престарелым хиппи, имеющим отношение к так называемой «Системе», куда в 70–80-х годах входили многочисленные питерские нонконформисты-теоретики и наркоманы-практики. Это было время борьбы МВД и КГБ с молодёжными неформальными группировками... Когда доставленный в отделение Юрий Семёныч открывал рот, чтобы искренне сообщить требуемые данные о себе, милиционеры пугались ещё больше: во рту у задержанного не было ни одного своего зуба — вместо них при свете лампочек прокуренной комнаты тускло блестели два ряда кривых стальных коронок. Но Юрий Семёныч никого не собирался кусать. Зубы у Юрия Семёныча выпали от голода и цинги в воркутинских и магаданских лагерях ещё в доисторическую эпоху. Не был Юрий Семёныч и хиппи. Он был странным, неортодоксальным историком-эрудитом, быв-

шим диссидентом, замечательным человеком и большим любителем чифирия. Чифирий не подходил под статью; завести дело о стальных зубах, к сожалению органов правопорядка, было невозможно также; седые волосы до пояса давали милиционерам единственный шанс — играючи намотать их на кулак и несильно долбануть Семёныча пару раз головой о стол. Семёныч при этом покорно молчал; люди в фуражках молчали тоже. После чего ему возвращали старый, растрёпанный паспорт, и он уходил домой, где ждала его молодая жена, девочка 19 лет, нигде не работавшая, занимавшаяся вышиванием платиц для кукол. Она продавала их на рынке. От девочки отказались родные — после того как она, полюбив за муки Семёныча, венчалась с ним. Семёнычу было лет семьдесят.

И вот, вспомнив всё это, я отправил одобрительный, но бесвязный комментарий к тексту о чужой маме, приписав туда зачем-то и Юрия Семёныча. И каково было моё удивление, когда автор текста, не говоря ни слова, вывесил в ответном комментарии фотографию Юрия Семёныча... Да, это был он, я сразу узнал потустороннее выражение его глаз. Прошлое нахлынуло на меня, и я не стал особенно разбираться, откуда у автора поста хранится фотография старого неортодоксального хиппи из ленинградского Музея истории города. Неисповедимы пути.

Очередная ассоциация плавно вывезла меня ещё на одного нетипичного человека. Я вспомнил, как не так давно в Иерусалим приехал с визитом Далай-лама — прямиком из Катманду, где он жил в вынужденной эмигранции, бежав из родной Лхасы после того, как Тибет оккупировали солдаты Китайской Народной Республики. Впрочем, возможно, эмигрантом был не тот Далай-лама, а его предшественник; это совершенно неважно. Важно, что это всё-таки был настоящий Далай-лама. Его привели к Стене плача, а я как раз проводил там экскурсию. Народу было мало. Шума по поводу прибытия тибетского гостя не было никакого. Одинокие хасиды раскачивались, стоя перед остатком разрушенного Иерусалимского храма, и били себя в грудь. Далай-лама прошёл мимо них в сопровождении нескольких тибетских монахов и полудюжины дюжих ребят из израильской службы безопасности. Он был невероятно худ, одет в традиционную свою одежду, носил очки, и голова его была свежевыбрита. Он подошёл к Стене рядом с тем местом, где стоял я, закрыл глаза и дотронулся до неё коричневыми сморщенными руками. Так он простоял около

минуты, что-то бормоча тихо, потом открыл глаза и посмотрел на меня — и улыбнулся. Меня ударило током, ибо на меня смотрела улыбка Чеширского кота, улыбка Юрия Семёныча Динабурга. Я медленно растянул одеревеневшие губы и тщательно улыбнулся в ответ. Он засмеялся. Я протянул руку и потрогал его жёлтый плащ. Он вытянул палец худой руки и показал на Небо, где барашками в пронзительной иерусалимской лазури бежали маленькие облака. Я послушно проследил за движением его руки, но, кроме облаков и синевы, ничего не увидел. Он постоял ещё минуту, потом, пятась, тихо отошёл от Стены. Отойдя метров на двадцать, он нашёл меня глазами ещё раз и снова улыбнулся. Резко отвернулся и быстро ушёл прочь. Я заплакал. Запредельность коснулась меня.



Михаил Гончарок родился в 1962 г. в Ленинграде. Окончил исторический факультет ЛГПИ им. Герцена. Отслужив в армии, работал учителем истории в школе, а также библиотекарем в ГПБ им. Салтыкова-Щедрина).

В Израиле — с 1990 г., живёт в Иерусалиме. Научный сотрудник Центрального архива истории сионизма. Автор ряда монографий и многочисленных статей по истории еврейского анархистского движения. Пишет на русском, иврите и идише.

Лауреат премии «Олива Иерусалима», участник международных научных конференций по истории анархизма. С июня 2007 г. — участник Содружества русскоязычных писателей Израиля «Столица», автор двух книг прозы — «Записки маргинала» (Бостон, 2007) и «Хамса для подруги детства» (Москва, 2014).

Прозу Михаила Гончарка не спутаешь ни с какой другой. Набор особенностей, которые её характеризуют, неповторим. Жёсткость в ней соседствует с сентиментальностью; комизм — с трагичностью, поэтичность — с бабелевскими лаконизмом и афористичностью; буффонада, иногда балансирующая на грани хулиганства, — с глубиной осмысления коренных вопросов человеческой жизни...

Михаил Гончарок, с моей точки зрения, — один из лучших израильских прозаиков, пишущих сегодня по-русски, и выход его представительного сборника в американском издательстве — большая радость для него, для тех, кто его уже знает и любит, и — я уверен в этом! — для его новых читателей.

Борис Камянов

Мир Михаила Гончарка плотно заселён. Несметное количество людей заполняет страницы его рассказов и улицы его городов: Ленинграда и Иерусалима. Имена, подробности, бытовые детали, характерные диалоги, цвета и запахи — всё густо замешано и создаёт иллюзию объёмного, реального мира. Но только иллюзию. Этот мир, такой узнаваемый, только притворяется реальным. Потому что каждая якобы бытовая зарисовка оборачивается абсурдом. Или фарсом. Или полным безумием. Или отдаёт близостью смерти.

Автор умело занижает своё участие в этих историях, говорят и действуют в основном его персонажи, он как бы простой наблюдатель, второстепенный участник из массовки. Но, это, естественно, приём, лукавство. Всё это о нём, что он знает лучше всех и декларирует в зарисовке «Ключи к декабрю». А ещё о бессмысленности, безумии, жестокости и абсурде нашей во многом прекрасной и удивительной жизни...

Татьяна Разумовская



www.mgraphics-books.com
mgraphics.books@gmail.com

ISBN 978-1-950319-92-3

